

АЛЕКСАНДР ТАРАСОВ



НА КРАЮ СЕЛА

РАССКАЗ

Добротным, тем более современным домом сие строение при всём желании назвать было трудно — избушка на курьих ножках, срубленная прадедом Стояновых чуть ли не сто лет назад, или, как он сам однажды сказал: “Сразу после того, как Вильгельму повоевали”.

Из-за того, что домишко несколько раз ремонтировали, снимали с него солому и перекрывали сначала рубероидом, а затем шифером, оно смотрелось довольно весело и прилично. И внутри было просторно: кроме кухни здесь размещались горница и спальня.

Однако главная изюминка не в самом доме, а в том месте, где он стоял: на самом краю села, и от него рукой подать до огромного пруда — более трёхсот метров в ширину и чуть ли не полтора километра в длину. Опоян пруд лесополосой из сосен, берёз и лип. В конце огорода возвышался покаты́й меловой холм, на вершине которого начинался лес.

Зажиточные горожане — село находилось в пяти верстах от райцентра — постоянно досаждали просьбами продать им дом под дачу. Деньги немалые сулили, но Ольга всем отказывала.

Прадед Савелий Тимофеевич рубил дом на большой кагал — двенадцать душ, но доживать в нём пришлось его правнучке Ольге со свекровью и своей двоюродной сестрой. Наложилось одно на другое: сначала у свекрови в со-

ТАРАСОВ Александр Васильевич родился в 1952 году в городе Шебекино Белгородской области. Служил в армии, учился в Воронежском государственном университете, работал мелиоратором, пожарным, строителем. В настоящее время — сотрудник районной газеты “Красное знамя”. Автор книг прозы “Соседи”, “Никто не уходит навсегда” и книги стихов “Я молюсь за Россию”. Печатался в журналах “Наши современники”, “Звонница”, “Светоч”. Живёт в г. Шебекино.

седнем селе хата сгорела, и её пришлось приютить, а потому у двоюродной сестры, инвалида с детства, после смерти родителей было два пути: в петлю или в дом престарелых. Ольга избавила убогую и от одного и от другого — к себе коротать век забрала. Муж Ольги — Николай молодым ещё от пьянки стигнул, ему к тому времени и тридцати четырех годов не исполнилось. Работал Николай в колхозной столярке, руки у него были дай Бог всякому, что и стало для доброго, безотказного парня трагедией: заказы от односельчан сыпались один за другим, и расплата за услугу каждый раз одна — бутылка. Детей Ольге с Николаем Господь не дал, но, может, оно и к лучшему.

Пока Ольга при социализме работала в колхозе учётчиком, жить было можно, но едва только перестройка клятая зашевелилась, как только о демократии затрубили, колхоз сразу же развалился, а на его обломках соорудили акционерное общество, которое через время силком втянули в состав агрохолдинга с глупым названием “Прогресс-Агро-Победа”. Ольга тотчас попала под сокращение. Ей аккурат к тому времени пятьдесят пять стукнуло — пенсионный возраст для женщины.

Никому не нужной Ольга стала. Приглашали, правда, иногда с мужиками-пенсионерами солому скирдовать, но какой там заработок? К тому же и расплачивались не всегда вовремя и не всегда деньгами, а то зерном, то овощами какими-нибудь. Не по людски расплачивались, не по совести.

Пошла жизнь через пень-колоду, чем дальше — тем хуже. Пенсия у всех троих мизерная, а дороговизна на всё живое и мёртвое, как на дрожжах, растёт. Держались в основном за счёт огорода в десять соток. На нём Ольга сама ковырялась: сестра почти безногая, а свекрови восемьдесят с гаком, считай, какие из них работники? Тем более что свекровь последние три года всё время болела. Расходы на лекарства с ног ссадили, да ещё власти налогами да сборами всякими задавили: квитанции за свет, за газ, за землю почтальонша Нина каждый месяц приносила. Потому женщины и старались включать свет как можно реже, утюгом и телевизором вообще не пользовались. Да их, по правде сказать, у Стояновых и не было.

— Всё время в потемках живём, как в войну, — вздыхала иногда свекровь — хоть бы скорее Господь к себе прибрал.

Не зря в народе говорят: пришла беда — отворяй ворота. Как оно на самом деле произошло — никто не знает, только отравилась сестра-калечка газом. Ольга в тот день с утра свекровь в местный фельдшерско-акушерский пункт водила на другой конец села — километра два от их дома, а когда вернулись к обеду — сестра мёртвая на полу у порога лежит; конфорка на газовой плите открыта, на конфорке двухведёрная кастрюля с почти выкипевшей водой стоит.

Милиция потом разбиралась. Списали всё на несчастный случай. Зато односельчане твердили в одну душу: сама себя убогая порешила. А раз так, то и не дали староверы согласия хоронить её вместе со всеми на кладбище: по нашей вере самоубийство — грех.

Одна лишь старуха Кисуриха за калечку заступилась, да и то как: — “Убили Стоянцы Богом обиженную, чтобы не кормить. Сами убили!” — уверяла она всех так, словно была очевидцем произошедшей смерти. Кисуриха всю свою долгую жизнь со всеми враждовала и всех ненавидела.

Сколько нервов пришлось потратить, прежде чем похоронили отравившуюся! Односельчане — все как один староверы — предупредили и главу местной сельской администрации, и участкового милиционера: попробуйте, мол, только дать разрешение похоронить на кладбище! И власти сдались: дали добро на то, чтобы закопать усопшую в конце огорода.

Яму Ольга копала вместе с дедом Гришкой, бывшим колхозным конюхом, который чуть моложе Ольгиной свекрови, да к тому же ещё и хромой на одну ногу, ибо был серьёзно ранен в Великую Отечественную войну. Больше помогать никто не стал: без магарыча “ни один дурак” не согласился. А на магарычи у Стояновых денег не было. Не было их и на то, чтобы справить поминки. Денег едва хватило, чтобы гроб в прокат на четыре часа взять, а потом вернуть его в контору.

Схоронила бедолагу, по определению деда Гришки, как безымянного солдата в войну: без пона, креста над могилой и поминального застолья.

— Царствие ей небесное! Пусть лежит и на нас не гневается, — плакала днями, а иногда и ночами свекровь, и этим своим плачем просто вынимала из Ольги душу.

— Мама, мы сделали всё, что смогли.

— Да я понимаю, и всё-таки...

Кончилось всё тем, что Ольга попала с инсультом в районную больницу. Ухаживать за нею было некому, пенсии едва на шприцы да на шоколадки медсестрам хватало, питание было такое... Впрочем, в Ольгином ли положении на больничное питание жаловаться? Выкарабкалась кое-как к ноябрьским праздникам.

Домой на попутке добралась, а там сюрприз: дом на замке, на дворе — “ни куренка, ни цыпленка” и, главное, свекровь невесть где. Потом выяснилось: ключ от дома у соседки, свекровь умерла, пятерых кур съели те, кто занимался похоронами.

— Другая неделя уже пошла, как преставилась Матвеевна, — рассказала соседка. — Я её мёртвой нашла на полу возле кровати. Она перед этим два дня из дому не показывалась. Могилка её на краю кладбища, там, где акация разрослась.

Был ветреный, промозглый сырой день. Разнокалиберные, но все как одна тяжелые тучи ползли по небу, сменяя друг друга. Дождь то усиливался, то лениво и реденько сыпался с низких небес на голые кусты акации, могильные пирамидки и кресты, холод проникал под тоненькую болоньевую черную курточку, и Ольга, зябко ёжась, прятала озябшие красные руки в рукава, словно в муфту, прижимала их к груди. Над свежим бугорком свекровиной могилы высился невысокий, старый, треснутый во многих местах крест, омытый дождями и высушенный ветрами и солнечными жаркими лучами до белизны. Раньше он возвышался над другой могилой и был покрашен в голубой цвет, но потом, когда на его месте появился новый памятник, крест за ненадобностью выбросили в мусорку на краю погоста, и наверняка быстро сгнил бы там без толку, кабы волею обстоятельств не получилось так, что он должен и может послужить своему предназначению ещё какое-то время.

Ольга стояла у могилы, опустошенная болезнью и лекарствами, глаза её были сухими, бескровными, синеватые губы плотно сжатыми.

— Крестик надо бы при случае покрасить, — думала она, — Но это весной, к Пасхе. Пасха в следующем году будет ранняя — четвёртого апреля.

На крест неожиданно камнем упал шустрый тощий воробей, боязливо зыркнул на Ольгу маленькими тёмными бусинками глаз, чирикнул, вспорхнул и был таков.

— Мне тоже пора в тепло, а то не дай Бог простужусь ещё, — подумала Ольга.

Всю осень и зиму чувствовала она себя отвратительно: болячки досаждали постоянно, все деньги уходили на покупку лекарств. Ольга как манной небесной ждала весны, почему-то надеясь, что с приходом тепла и солнца жизнь её станет абсолютно другой, новой. Но едва побежали ручьи и зазвенела капель, как её второй раз настиг инсульт. Был он ещё более тяжелым, чем первый. Ольга долго валялась в больнице и домой вернулась в конце апреля с почти парализованной правой рукой и невнятной речью. Врачи строго-настрого запретили ей заниматься физическим трудом и расстраиваться.

— Берегите себя, или последствия могут быть самыми страшными, — напутствовала Ольгу молоденькая медсестра, к которой Ольга за время болезни прониклась большей симпатией, чем к остальному персоналу, за её простоту и внимательность.

— Куда ещё хуже? — сказала Ольга и поцеловала руку смутившейся от неожиданности девушки.

Весна набирала силу, всюю бушевала юная зелень, крепко пахли клейкой листвой липы, птицы, давным-давно прилетевшие из-за теплых морей, на радостях успевали и песни петь, и хлопотать по хозяйству. Огород Ольги зарастал бурьяном. На него было больно смотреть, и она попросила соседей, чтобы они засеяли его хотя бы для себя. Те, поколебавшись немного, согласились.

От нечего делать Ольга часами сидела во дворе или возле двора на солнышке, старалась чуть ли не поминутно перебрать всю свою предыдущую жизнь. И чем больше она об этом думала, тем хуже становилось её состояние.

Вечером, в канун дня Победы и в канун Ольгиного шестидесятилетия, у её дома остановился, блестя в лучах заходящего солнца чёрным лаком, джип. Из него легко и ловко выпрыгнул высокого роста, рыжий, коротко стриженный парень лет двадцати восьми—тридцати и, без стука толкнув калитку, направился уверенной, упругой походкой в дом.

Ольга растерялась: кто бы это мог быть? И потому не отозвалась на первый стук во входную дверь. Лишь когда стук повторился более настойчиво и громко, она крикнула — не заперто!

Парень был одет в чёрную шелковую безрукавку и в такого же цвета джинсы, но кроссовки размером чуть ли не с детские пластиковые лыжи были белыми.

Гость поздоровался и без всяких предисловий предложил Ольге отдать её дом ему.

— Что значит — отдать?

В предчувствии чего-то нехорошего Ольга, и без того слабая, ослабела ещё больше и присела на стул.

— Вы меня не знаете? — удивился парень. — Странно! Я думал... Ну, да ладно: я старший сын генерального директора агрохолдинга “Прогресс-Агро-Победа”. Мы запланировали на этом месте, где находится ваша завалюха, построить офис. Здесь всё нас устраивает: ландшафт местности, подъездные пути и прочее.

Ольга смотрела на незваного гостя и никак не могла от волнения и слабости понять, о чём он толкует. Молодого человека было так много, он был таким огромным, что горница казалась совсем крохотной, и Ольге стало не хватать кислорода, она почувствовала, что задыхается.

— Ты чего, бабуль, молчишь? — весело поинтересовался верзила. — НЕ ВРУБИЛАСЬ, О ЧЁМ Я ТЕБЕ БАЗАРИЮ? Могу повторить ещё раз: предлагаю тебе обмен — мы определяем тебя в дом престарелых, выплачиваем тебе же за твою развалюху определенные копейки и сверх того — даём тебе вот это...

Парень вынул из заднего кармана пачку зелёных купюр и шлепнул их возле керосиновой лампы.

— Сроку тебе на обдумывание — до конца недели. Сегодня вторник.

— Сестру Катю я здесь недавно в конце огорода похоронила. Могилка её...

— Ай, ерунда! Слышал я. — Парень скривился. — Перенесём мы могилу на край кладбища, куда захотим. Какие проблемы?

— Народ не позволит..

Ольга хотела сказать ещё, что это из-за односельчан могилка калечки оказалась в конце её огорода, но парень не стал слушать, перебил с презрительной усмешкой:

— Какой народ? Вот эти мыши, что живут в вашем селе? Да кто их спрашивать станет? Большинство из них в нашем холдинге пахут, нашим хлебом кормятся... Народ! Плевать!

Парень умчался на своем джипе так же быстро и неожиданно, как и появился, а Ольга за всю ночь ни на минуту не могла сомкнуть глаз: тошнота как подкатила с вечера к горлу, так до самого утра и не отпускала, голова раскалывалась от боли, нечем было дышать. Несмотря на страшную усталость и апатию, Ольга не могла ни сидеть, ни лежать, а всё пыталась двигаться по тёмным, пустым и глухим комнатам.

Утром, чуть свет, в дом Ольги ввалился ещё один неожиданный гость — участковый Коваль. Был он уже далеко не мальчик — за сорок где-то, высок ростом и очень толст.

Раскорячившись на стуле, он снял с потной лысой головы форменную фуражку, достал из кармана брюк носовой платок.

— Значит так, милая, — сказал он, обмахиваясь платком, словно веером. — Ты, по-моему, в последнее время слишком много стала о себе мнить. — И не давая опешившей Ольге раскрыть рот, продолжил отдышли-

во: — К тебе вчерась порядочный человек с предложением приезжал? Приезжал! Предложение делал? Делец! Так какого же ты... из себя что-то там корчишь? Ты кто такая, чтобы против таких людей выступать?

— Но ведь...

— Ты, едрёна корень, не умничай. Не умничай! Тебе большие люди деловое предложение сделали, а ты им чем на их доброту ответила?

Участковый полез в карман за сигаретами.

— Это... это родовой наш дом, его ещё мой прадед Савелий Тимофеевич рубил, в нём...

Ольга задыхалась, голова у неё кружилась, и она вцепилась в край стола, чтобы не упасть.

— А ты что, дворянка, едрёна корень? — захохотал участковый. — Ты мне тут комедь не разыгрывай и глаза под лоб не закатывай, я на таких, как ты посмотрелся за двадцать лет работы в органах, поэтому предупреждаю: сутки тебе на размышление, а не то...

Он грузно поднялся, одел фуражку.

— Где у тебя воды напиться можно?

Ольга махнула рукой в сторону кухни.

До обеда она просидела, не шелохнувшись, у окна, глядела на улицу, о чём-то думала. Потом тяжело поднялась и, опираясь о стенку, подошла к шкафу, достала из него пачку таблеток, понижающих давление. Высыпала их все в рот, постояла, отдышалась, зачерпнула кружкой воду из эмалированного ведра. И опять постояла, словно в забытии. Мыслей уже никаких не было.

...Весь керосин из лампы Ольга вылила на постель, морщилась от удущливого едкого запаха, потом долго слепо шарилась в поисках коробка со спичками. Её шатало, бросало из стороны в сторону, но всё-таки она изловчилась и сумела достать дрожащими, неуверенными пальцами серник, чиркнула им по коробку. Чиркнула, и в тот же миг мир, окружавший её доселе, рванул необычайно яркой вспышкой, отчего появилась в нём огромная дыра, в которую и полетела стремительно, словно боясь куда-то опоздать, малосенькой искоркой Ольга, а потом где-то там, в глубине дыры, в недрах непостижимой бездны, вскоре и погасла.

СЕРЁЖКА

РАССКАЗ

Тётка Тамара умерла, а Серёжке совсем не страшно. Вон она лежит в длинном и узком, оббитом чёрным ситчиком гробу в зале под образами. Лица её из дверей спальни не видно, лишь жёлтый длинный нос торчит, а по нему большущая зелёная муха ползает. Соседка через два двора, старая Анна Никифоровна сидит у гроба и то ли дремлет, то ли думает о чём-то своём, не видит муху, не отгоняет. И другие ничего не делают, только стоят и смотрят, иногда переговариваются шепотом между собой. А муха ползала, ползала и перелетела с тётки Тамариного носа на лоб Анны Никифоровны. Та встрепенулась наконец и отмахнулась рукой, покачнувшись на стулке, чуть на пол не грохнулась. Смешно!

Серёжка отступил вглубь спальни и ничком упал на кровать. Плечи его вздрагивали от смеха.

В хате душно. За окном конец августа, солнце в зените. Жарища-а! Поникшие, серые от жары и пыли листья сирени начинали уже кое-где буреть, а на берёзе, что за забором в огороде, так вообще уже чуть ли не половина листьев в ярко-жёлтый цвет окрасились. Осень на носу, холода не за горами, дожди.

Где Серёжка будет жить в то время — Бог весть, как любила повторять умершая тётка Тамара. Серёжка ведь один остался на белом свете, как перст один (опять любимые тёткины выражения), ни отца у него нет, ни мамы, ни даже далёких родственников. Была вот одна тётка Тамара, не старая ещё, но померла неожиданно. Рак лёгких, говорят, у неё был. И что это за рак такой? Вот бы поглядеть на него хоть одним глазком, увидеть, как он пожирает человека изнутри. И как он попадает во внутрь — тоже интересно бы узнать. Вообще, на свете много интересного. Вот, например...

— Ты плачешь? Ну поплачь, поплачь, касатик, полегчает.

Серёжка ещё глубже вдавил лицо в подушку и плечи его затряслись сильнее. Он узнал голос уборщицы из промтоварного магазина бабушки Фросы — старушки уже совсем, но шустрой и очень доброй.

Серёжка почувствовал, как теплая, сухонькая ладошка старухи легла ему на затылок и легонько погладила волосы.

— Поплачь...

Серёжины покойные родители были детдомовцами. Они долгое время учились вместе, работали на химкомбинате в городе Воскресенске, что под Москвой, и погибли в один день от взрыва в цеху какого-то там то ли котла, то ли газового резервуара. Папа сразу умер, а мама ещё почти сутки от ожогов мучилась. Но схоронили их вместе, в одной могиле.

Из общежития, где они раньше жили, Серёжку забрала в село троюродная тётка мамы, которая невесть откуда объявилась — или с Камчатки, или с Сахалина — и купила себе хату на Белгородчине. Десятки лет о ней не было ни слуху, и вот объявилась.

Два с половиной года назад, когда погибли родители, Серёжке семь лет исполнилось, и он должен был через лето в школу идти. Тётке Тамаре тогда пятьдесят четыре было, но выглядела она гораздо старше — лицо всё в морщинах, тёмное, фигура сухощавая и чуть сгорбленная. Но особенно губы тётку портили — синие и очень тонкие. Жалобы на какие-то свои болезни у неё были постоянно.

Из-за этих её болезней и Серёжке часто “на орехи” доставалось. Нет, нельзя сказать, что она была постоянно как-то по-особенному зла, но частые вспышки гнева, переходившие порой в истерию, делали жизнь Серёжки нервной, а временами опасной. Потом, правда, тётка каялась, плакала, пыталась приласкать обиженного. Но проходило совсем немного времени, и тётка вновь срывалась с цепи. В такие моменты у неё начинала идти горлом кровь, и когда тётка пыталась кричать, кровь разбрызгивалась вокруг, в том числе попадала и на Серёжку.

Бабушка Фрося частенько навещала их дом, нет-нет да и говорила тётке укоризненно:

— Скаженная ты, девка. Во зле не ведаешь, што творишь. Так ведь до греха недалече. Угровишь пацана ни за понюшку табаку.

Тётка в ответ только черными своими глазами зыркала и губы синюшные поджимала.

Питались они, как считала сама тётка, “так себе”, что называется, с хлеба на квас перебивались. Мясо и рыба только по великим праздникам на столе были. А то всё в основном картошка, суп да каша какая-нибудь, чаще всего пшенка.

Тётке жирное противопоказано было, да она и без того в еде непривередливой была. К тому и Серёжку приучала.

— Обвыкайся, — говаривала она бывало, — тебя в жизни впереди не пряники медовые ждут, дай Бог, чтобы хлеба вволю было. Образованием хорошим я тебя обеспечить не могу, не за что, да и не доживу я до тех золотых дней, когда ты в люди выйдешь..

Серёжка слушал, согласно кивал головой, а сам вспоминал, как им в школьной столовой и котлетки, и конфетки и даже мороженое иногда давали.

— Знаешь пословицу, — продолжала учить уму-разуму тётка, — кушай тюрю, Яша, молочка-то нет.

— Не пословица это, а присказка, — поправлял Серёжка.

Тётка отмахивалась:

— Какая разница, главное, что умно сказано.

Так и прожили без малого три года: Серёжка в школу бегал, тётка летом в огороде ковырялась, зимой с бабушкой Фросей кости соседям мыла, да про болезни свои разговоры разговаривала. В последнее время, правда, она чаще лежала. Иной раз Серёжке за неё даже приходилось стряпать: картошку там сварить или поджарить, кашу постную в духовке в чугушке запарить. Но это всё не тяжело было, даже интересно. Страшно, когда тётка в кашле заходила, и кровь из-под тряпицы иногда во все стороны летела.

Серёжку отвлек от невесёлых мыслей дребезжащий козлиный голос настоятеля местной церкви отца Фаддея, который ввалился в дом вместе с двумя певчими отпевать усопшую. Был батюшка, несмотря на свои невеликие ещё лета, весьма дороден, высок, но волосяной покров на голове и лице имел скудный, а голос — жидкий. Винцом он особо не увлекался, был приветлив и обходителен. За те полтора года, что прослужил отец Фаддей в местной церкви, о нём никто ни разу худого слова не сказал. Даже мужики и парни, которые при встрече всегда первыми здоровались с ним, а некоторые любили ещё и поговорить на “вольные темы”.

Серёжка опять чуть ли не рассмеялся во весь голос, когда огромный священнослужитель тоненько заблеял молитву и широко замахал густо дымящим кадилью. Две пожилые тётеньки, пришедшие с ним, подхватили молитву дружно и ловко.

В доме стало ещё труднее дышать.

Серёжка быстрее задрнул тяжелую серую занавеску, что была в спальне вместо двери в зал, сел за старый, шаткий, покрытый рыжей клеёнкой стол, что стоял у окна впритык к стене, и стал смотреть на улицу.

Там не было ни единой живой души, если не считать трёх купавшихся в пыли кур, да ещё воробья, нашедшего себе тенёчек на одной из веток сирени. Солнце уже перевалило свой зенит, но жарило по-прежнему изо всех сил.

Серёжка вдруг вспомнил, как Наташка Кириленко из их класса, хвастунья и ябеда, но хорошо игравшая в волейбол, рассказывала прошлой зимой в школе, что её мама, когда хоронили дедушку, написала письмо за несколько лет до того умершей бабушке и положила в дедушкин гроб. Наташка хвасталась, что бабушка на том свете это письмо получила. Когда Наташку спрашивали, откуда ей известно, что до бабушки письмо действительно дошло, она отвечала запальчиво: — Оттуда! — и показывала язык.

Девочки все до одной верили Наташке, а мальчишки некоторые сомневались и говорили, что Наташка всё врёт потому, как на том свете темень — хоть глаз выколи, и прочитать письмо под землёй нет никакой возможности.

Серёжка верил. Он верил Наташке ещё и потому, что она хоть и хвастунья, но училась хорошо, иногда даже Серёжке помогала во время контрольных некоторые задачки решать. Порешает всё своё сначала, а потом и ему, соседу по парте, помогает.

Вспомнив про Наташку, Серёжка очень захотел её увидеть, хотя знал: почти до конца месяца это нереально, уехала Наташка на днях со старшей сестрой в гости к родственникам в Санкт-Петербург.

Батюшка с певчими продолжали в зале читать молитву над умершей тёткой, во дворе неожиданно заволокло закурахтала соскочившая, наверное, из гнезда курица, и её вопль подхватил тощий, белый с желтизной петух с большим красным гребнем, свалившимся набок. Петух выскочил из-под крыльца и орал так, как будто это не курица, а он сам неожиданно съёс яйцо и теперь на радостях старался как можно громче оповестить об этом округу.

— Шалопутный, — прошептал чуть слышно Серёжка и полез в школьный рюкзак за шариковой ручкой.

Достал из рюкзака заодно и черновую тетрадь с несколькими чистыми ещё листками.

Прежде чем написать первое слово он долго и сосредоточенно смотрел в окошко, думал.

“Дорогие мои папочка и мамочка, — написал он. — Опять подумал, зачеркнул “дорогие” и сверху вывел “любимые”. — Тётка Тамара умерла вчера от крови, и по ней муха в гробу ползает. Я не знаю, с кем я теперь буду жить. Я никому не нужен. Бабушка Фрося сказала, что меня в детдом, наверное, определят. Она бы меня взяла к себе, да старенька уже, ей не раз-

решат, и пенсия у ней такая, что только ей самой да мухам на еду хватает. Говорят, в детдоме страшно, и никто никому не нужен. А я есть хочу, с самого утра только чайку с хлебом поел, всем некогда, тётку Тамару хотят хоронить. Мамочка и папочка, если вы там у себя увидите Бога, попросите его, чтобы он помог мне, потому что мне помочь больше никому. Я буду ждать. Я вас очень люблю”.

Серёжка задумался: чтобы ещё написать? Но ничего больше не придумал, вырвал листок из тетрадки и вчетверо сложил его.

От дома до кладбища было не более километра. Проводить усопшую в последний путь собралось считанное количество человек: тётку, в силу её болезни и характера, в селе особенно “не праздновали”, жила она здесь мало, да и к тому же конец августа — время жарких огороодно-полевых работ.

Кроме шести достаточно престарелых мужчин — “копачей” (они и гроб несли, и ямку копали), за гробом шли десяток женщин, да ещё Серёжка с бабушкой Фросей. Серёжка специально упросил бабушку приотстать немножко и сказал потихоньку:

— Бабань, а я маме с папой письмо написал.

— Ага, ага, дитятко, хорошо, — закивала согласно головой бабушка Фрося, думая о чём-то своём. А потом аж остановилась испуганно:

— Как написал? Куда? — спросила она, и на её красных, подслеповатых глазах появились слезинки.

— Я не знаю, как мне тётке Тамаре его в гроб положить.

Старуха стояла, слёз на её глазах становилось всё больше, она их не вытирала, а лишь прикрыла рот ладонью левой руки, словно придавливала крик, который в любую секунду готов был вырваться из этого самого рта.

— Господи Иисусе Христе, — наконец нашлась она и дрожащей рукой перекрестилась три раза сама и перекрестила Серёжку. — Горемыка ты несчастный, и кто же это тебя надоумил писать, ай сам придумал?

Серёжка насунулся. Он испугался и подумал, что зря рассказал старухе про письмо — теперь она ни за что не разрешит его положить в гроб к тётке.

— И где это письмо?

Серёжка молчал.

— Что же ты молчишь? Давай письмо, я его незаметно в гроб суну. Не бойся, никто не узнает!

Серёжка недоверчиво посмотрел в глаза бабушке.

— Не бойся, не бойся, дитятко, сделаю всё как надо.

Бабушка Фрося перекрестилась и взяла четвертушку бумаги из потных и грязных Серёжиных рук.

Перед тем, как накрыть гроб крышкой и начать вколачивать в него гвозди, один из копачей грубо подтолкнул Серёжку в спину.

— Чего стоишь, сияешь, как медный самовар? Иди с тёткой попрощайся, — выдохнул он едким вонючим перегаром.

Серёжка попятился назад, готовый расплакаться, он боялся покойников. Вступила за него бабушка Фрося.

— Чего пужаешь дитёнка, непутёвая голова, — напустилась она на копача. — Видишь, он и так ни жив, ни мёртв стоит.

И пригорнула Серёжку к себе.

Серёжка уже знал, видел, как бабушка совала несколько минут назад под подушку в гроб к тётке его письмо, и теперь желал только одного: быстрее бы заколачивали этот гроб и засыпали землёй, чтобы письмо быстрее попало к его родителям.

Когда над тёткиной могилой поставили большой жёлтый деревянный крест, и все потихоньку потянулись с кладбища к поминальному столу, который был накрыт в их подворье, Серёжка стоял у могилки и думал: передала ли тётка письмо родителям? То-то они, поди, сейчас радуются за него! Ведь когда они погибли, Серёжка ещё в школу не ходил и писать не мог, а теперь...

— Папочка, мамочка, я вас очень люблю, — сказал Серёжка и впервые с момента тёткиной смерти заплакал. Плакал он долго, навзрыд: ему очень не хотелось в детский дом.